

ЛИЧНЫЙ ДНЕВНИК: УРОВНИ ПРИВАТНОГО И ДИСКУРСЫ ПУБЛИЧНОГО (НА ПРИМЕРЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕВНИКОВ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ)

Р. С. Черепанова

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Российская Федерация

В данной статье дневник рассматривается как разновидность литературного письма, осуществляющегося в рамках основных нарративных форм (романа, трагедии, комедии, сатиры — Х. Уайт). В одном дневнике могут соседствовать эпизоды, адресованные различным кругам «идеальных читателей». Этим категориям потенциальных читателей соответствуют различные уровни интимности, на которых ведется повествование. Категории читателей и уровни приватности различаются по набору тем, интертекстуальных связей и используемых дискурсов. Автор статьи иллюстрирует свои размышления на примерах нескольких личных дневников, написанных в период 1960-х — начала 1980-х гг., как опубликованных, так и неопубликованных на сегодняшний день.

Ключевые слова: дневник, нарратив, дискурс, жанр, приватное, публичное.

Феномен дневника многообразен. Создатели электронной библиотеки «Прожито» выделяют в качестве отдельных типов дневники погоды, путешествий, военные, крестьянские, духовные, философские, туристические, экспедиционные, коллективные, любовные, и т. д. В этой статье речь пойдет о широком кластере текстов, объединяемых феноменом так называемого «личного дневника», в создании которого профессиональные или деловые цели могут также присутствовать, но не являются доминирующими. Можно сказать, что личный дневник пишется не всегда в личных, но всегда в личностных целях: самоутверждение, фиксация значимых фактов в «правильном виде» для последующего размещения их в банке памяти, самоидентификация и рефлексия, выработка воли, поиск жизненных целей, и т. п. — все это может не быть личным, но всегда является личностным. Неразделение понятий «личностного» и «личного», подмена первого вторым ведет к определению дневника как сугубо интимного феномена, что, на мой взгляд, неверно. Рассмотренный через личностность, культурную, дискурсивную и интертекстуальную погруженность, дневник может быть представлен как некий общественный перформанс (хотя бы о том, что «в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский»).

Очевидно, что первой формой «опубликования» приватного выступает язык. Описывая свои сокровенные вещи, человек уже самим этим актом публикует их, а, употребляя те или иные речевые конструкции, он также определяет потенциального адресата своего текста. Следующий возможный шаг — предоставление адресату доступа к тексту — выглядит не неизбежным, но совершенно логичным. Можно сказать, что дневник прекрасно иллюстрирует природу приватности, как культурного феномена модерности. Приватность долгое время оставалась элитарным символическим капиталом. Соответственно, ее наличие необходимо было демонстрировать, самому себе, или, даже чисто символически и условно, другим. Дневник в

этом смысле предстает важнейшим элементом позиционирования приватности.

Демонстрировать наличие частной жизни можно зрителям из разных кругов. Для каждого круга существуют и специфические объекты, выставляемые на обозрение, и подобающий дискурс. Таким образом, мы получаем приватность, предназначенную (условно): 1) для демонстрации обществу в целом, 2) своей социальной (этнической, гендерной, профессиональной и т. д.) группе, 3) для демонстрации кругу знакомых, коллег, соседей, 4) для «использования» в компании друзей, любовников, семьи, 5) для самого себя, и, наконец, 6) то, что остается вне речевых практик и, следовательно, в значительной своей части ускользает от исследователя. Первые четыре уровня могут маскироваться под вариант «идеального, всепонимающего друга / Бога», однако принадлежность этого «идеального читателя» к одному из кругов, перечисленных в пунктах 1—4, можно довольно точно определить по используемой лексике. В дневнике может присутствовать один адресат, или несколько. Гораздо любопытнее, конечно, сосуществование в одном документе различных адресатов и, соответственно, нескольких уровней приватности и нескольких дискурсов говорения о ней.

Тексты, написанные в чистом виде «для себя» едва ли будут полны риторических вопросов, развернутых литературных описаний, пояснений о деталях, которые неизвестны посторонним, самооправданий и обращений, то есть того, что выдает интервенцию публичности в виде литературных или политических дискурсов. Зато эти тексты полны сокращений и обрывов, непонятных для постороннего читателя. Они кажутся скучными именно потому, что автор не описывает обстоятельства или чувства, а делает пометки об этих чувствах и обстоятельствах.

Тексты, предполагающие другого адресата, нежели самого себя, могут быть, следовательно, названы своеобразной игрой вокруг приватности. Автор может никогда никому не показывать своих записей, и все-таки они будут написаны вовне, для

публики («для истории») и принадлежать публичному пространству. При этом чрезвычайно интересно сравнивать, в каком градусе, в каком круге приватности помещаются у каждого конкретного автора хозяйственно-бытовые, физиологические, любовные, эротические или политические записи: что на самом деле для него является наиболее интимным, то есть наименее помещенным в публичный дискурс и наименее пригодным для озвучивания? К примеру, «общее дело», наличие «общественных интересов» и гражданской позиции, которые очень часто по объективным причинам невозможно широко озвучить и тем более реализовать, становились непременными атрибутами внутренней («частной») жизни российских интеллигентов, как дореволюционных, так и советских.

Важный момент заключается в том, что не стоит отождествлять собственно приватность и язык говорения о приватности. Одно вполне может не совпадать с другим или существовать без другого. Так, впечатление «пустоты» от дневников Николая II или Брежнева в первую очередь создает их язык — язык функционеров, привыкших к стилистике официальных документов. Но совсем другую картину мы обнаруживаем в дневниках интеллигенции, написанных даже в сталинскую эпоху с ее стремлением предельно сжать и поставить под государственный контроль сферу приватного. Ярким примером тому служат известный дневник Нины Костериной, отличающийся богатством языка, многоуровневостью повествования, обилием персонажей, каждый из которых прослежен в своей внутренней эволюции, а также удивительной нарративной слаженностью, сюжетностью. Допридумывание, «подправление» реальности в сторону, удобную для поддержания желаемой самоидентификации автора, является вообще одной из важнейших функций дневников-писания. Значение дневникового письма как раз и заключается в том, что: «Идентичность конструируется и поддерживается через истории (нарративы)» [10]. Человек не только пишет свою жизнь, как роман, но и тут же проживает ее как роман (в понимании романа как литературной формы, развивающейся в качестве сюжета самоидентификацию героя и его трудный «путь к себе»). Возможность приложения концепции жанров не только к литературе в ее высоком, узко-профессиональном смысле, но и к устной речи, отстаивал еще М. Бахтин. Затем, К. Мюррей и Дж. Брунер, проанализировав индивидуальные биографические нарративы, убедительно представили литературные жанры в качестве форм структурирования личного опыта. Согласно известной классификации Н. Фрая и Х. Уайта, использованной, в частности, Мюрреем, Новому и Новейшему времени свойственны четыре основных жанровых структуры, в которых происходит осмысление прошлого: это — роман (становление героя в его примирении с миром), трагедия (заранее обреченная на поражение борьба героя против обстоятельств), комедия (обличение пороков мира с надеждой героя одержать над ними победу) и сатира (обесценивание героя на фоне обесцененного мира). Любой автор дневника уже самым актом наррации укладывает пережитое и осмысляемое им в одну из

вышеназванных жанровых форм. Жанры, в свою очередь, предполагают определенные стереотипы в отношениях между идеальным и реальным, героем и жизнью, в общем виде предопределяя конструкцию сюжета (Н. Фрай, Ц. Тодоров).

Сюжетность дневника, в зависимости от личности автора, цели письма и жанровой формы, может быть «смазанной» или достаточно ярко выраженной, как у Нины Костериной или Николая В., молодого человека из среды московской преподавательской и научной интеллигенции 1960-х гг. Текст Николая замечателен также наличием в повествовании нескольких параллельных уровней приватности и соответствующих им различных дискурсов.

Так, изначально автор позиционирует свой дневник достаточно интимным пространством: рассматривая его в качестве замены духовно близкому другу, которого пока нет, и как способ выражения любви к самому себе: нежные обращения к дневнику («мой милый», и т. п.) — это завуалированные нежные обращения автора к себе самому. В аутоэротизме дневника можно увидеть желание любить и признавать себя без мучительных самокопаний и рефлексий, к которым молодого человека приучила строгая мать и ожидания людей ее круга. Поскольку Николай постоянно и остро переживает собственную ординарность, дневник становится не только способом выражения любви к себе, но и, через постоянное самообичивание, способом наказания за эту любовь, которой юноша пока «недостойн», но которую он надеется заслужить тем, что из посредственности станет незаурядной величиной, героем, соответствующим своей выдающейся матери и ее окружению.

Отличиться Николай собирается на научном поприще. Он предполагает быть историком, и, конечно, не «серятиной». С этим признанием дневник получает еще одну функцию, выступая в качестве исторического источника для будущих исследований, а также хранилища материалов для биографии или автобиографии автора. О новой, широкой, адресации уровня «городу и миру» свидетельствуют, во-первых, изменяющееся обращение к дневнику — от 2-го лица к 3-му, от «ты», к «он»; а, во-вторых, подробный и старательно олитературенный (длинные сложные предложения, эпитеты, повествовательный тон) рассказ о прошлом своей семьи; и, наконец, прямая отсылка к литературным аналогам (Герцен).

Однако ни публичная адресация (потенциальному «широкому читателю будущего»), ни интимная (для некоего «альтер-эго») не становится ведущей в дневнике Николая. Большинство записей молодого человека адресованы в широком смысле кругу «своих», написаны тем языком и посвящены тем темам, которые структурируют интеллигентскую корпорацию уже более столетия. Нарраторами, в зависимости от описываемых обстоятельств, выступают две литературные маски: иронический бытописатель, взрослый и умный Циник («Печорин»), и чистый «домашний» мальчик, Идеалист («Подросток»). Оба эти персонажа имеют собственные языки и общаются с читателем на разных уровнях приватности.

В образе «Циника», например, Николай критикует советскую систему, в частности, пресловутый

«блат», и тут же описывает, как он сам с его помощью намеревается избежать армии и устроиться на приличную работу. Для этих записей характерны уверенность в общей «гнилостности» человеческой натуры, короткие предложения, мелкие и бытовые темы, описанные с прагматических позиций, минимум эмоций, отсутствие риторических вопросов, а также развернутых описаний, метафор и эпитетов [7, л. 6, 13—14, 28]. Игра в Печорина диктует и определенные отношения с женщинами, и Николай описывает, цинично и натуралистично, однако без непечатных выражений, свои вполне невинные фантазии и познания. В образе «Идеалиста» Николай переходит к высоким темам и высокому литературному языку и разворачивает настоящую борьбу со своими несовершенствами, физическими и духовными: ленью, неспособностью к самоорганизации, недостаточной эрудиции, греху самоудовлетворения. Аналогичным образом делились друг с другом опытом преодоления своей телесности русские интеллектуалы XIX столетия — М. Бакунин, В. Белинский. Однажды на пикнике Николай передаст дневник друзьям, и они будут описывать действия всех участников вечеринки, в том числе отметят и весело матерящегося Николая, так что выражаться нецензурно, в подобающем кругу и обстановке, наш герой умел. Однако, рефлексировав по поводу своего эротического опыта, Николай предпочитал пользоваться исключительно высоким литературным дискурсом.

Когда в дневнике наконец появляется любовная линия, кажется, что интимность записей повышается до неартикулируемого уровня («только для себя»), и мы можем только догадываться, что происходило между молодыми людьми на самом деле. Однако возможно, что перед нами просто умелый литературный прием, имитация и симуляция интимности, потому что: какой же роман без любовной линии? Воскливания, недомолвки и умолчания Николая, во всяком случае, выглядят очень мелодраматически и очень литературно. Да и первоначальная декларация о том высоком уровне интимности, на котором Николай планирует вести свой дневник, также может быть рассмотрена в качестве литературного приема, устанавливающего доверительные отношения между автором текста и читателем, адресатом и адресантом.

Другой дневник писатель, непризнанный поэт, Вадим А., подобно Николаю, принадлежащий кругу столичной интеллигенции, также начинает свой дневник на самом широком уровне адресации — в качестве материала для своей будущей биографии или мемуаров [5]. Первая же запись, датированная 7 ноября 1966 г., описывает визит двадцатипятилетнего поэта, вместе с другим молодым коллегой по ремеслу, неким Алешей, к известному литературоведу В. И. Глоцеру. Перечисляя темы, на которые Глоцер разговаривал с ними, Вадим упивается их престижностью и высокой интеллигентской статусностью этих тем, употребляя без пояснений (потому что настоящим интеллигентам и так все понятно и лишние пояснения не нужны) определенные, практически кодовые, «для своих», выражения и метафоры.

Первую, наивно-восторженную, дневниковую запись отделяет от следующей семнадцать лет. За эти годы автор успел несколько раз отсидеть в тюрьме, принял нелегкое решение перестать пить, побывал в психиатрической больнице, получил там серьезный диагноз, инвалидность и пенсию. Этот пласт жизни ему, с одной стороны, нужно упомянуть в дневнике, чтобы объяснить свои нынешние реалии и настроения. С другой стороны, описания больнично-тюремных хождений не должны сочетаться с образом шизофреника, алкоголика и уголовника. Этот неприятный образ Вадим трансформирует в своей поэзии и прозе в трагический образ бунтаря-одиночки, борющегося с системой и всеми преданного; аналогии со страдающим Христом у него совершенно прямые [12]. Законы трагедии предписывают герою продолжать страдать, погибнуть или сломаться. В поэзии Вадима все так и происходит. Поэзия вообще — удобное пространство для страданий. Дневник зрелого мужчины — другое дело. Здесь нужно показать себе (и другому потенциальному читателю) ненужность прожитой жизни. Поэтому больнично-тюремный опыт упоминается в дневнике Вадима только в контексте нравственного совершенствования, долгого пути героя к выстраданному счастью.

Вадим открывает свой дневник 1983 года подчеркнутыми бытовыми деталями: описанием своих прогулок, ремонта, который он затеял в своей небольшой квартирке, с подробностями переговоров с нетрезвыми «работягами». Его комментарии в отношении телевизионных программ и художественных фильмов оригинальны и глубоки. Он чистоплотен и «рукаст». Он гордится отменным эстетическим вкусом своей матери. По распространенной интеллигентской практике, мать попросила его встретить и «поводить» по Москве дочь своей кишиневской подруги. Вадим описывает несколько этих совместных поездок с этой молодой женщиной, Светой, по Москве. Они вместе обедают в ресторанах, стоят в очередях, совершенно без стеснения приобретая Свете кофточку, «бежевый бюстгальтер» и серьги, на вкус автора, «совершенно колхозные». Также Вадим отдельно отмечает провинциализм и мещанство Светы, которая испугалась его привычки всюду ездить на такси. Зато автор в этой приверженности к поездкам на такси демонстрирует характерное интеллигентское «бессеребренничество». Зарплата юриста Светы, думается, более соответствовала роскошному образу жизни, чем пенсия по инвалидности, на которую существовал непризнанный поэт. Но именно поэтому Света ведет себя как провинциалка и мещанка, а Вадим — как безупречный интеллигент. Дневник прилежно фиксирует, насколько старательно Света старается держаться «своей» в кругу столичной интеллигенции. Но именно эта старательность и скучный прагматизм выдают в ней мещанку: «Вчера, всякий раз когда я останавливал машину, она старалась утащить меня на автобус или метро. Вчера я принимал это просто за стеснительность, а сегодня после такой закатанной сцены, это можно было уже понимать, как то, что Света не хочет слишком задалбливаться <...> ее провинциальная расчетливость просто от другого

жизненного уклада <...> Дал почитать маме место из дневника, где я писал о Свете. Мама сказала, что я себя вел правильно» (Машинописная тетрадь, записи от 17 и 20 марта 1983 г.).

Снова, как и в случае с Николаем В., мы наблюдаем старую интеллигентскую традицию: давать дневник для прочтения духовно близким людям. Адресат процитированных записей Вадима, как и адресат Николая, — не семья, не «человечество», не «мужчины», не «советские люди», но: интеллигентская корпорация. Цель записей — оттенить, в том числе мешанкой Светой, принадлежность автора к творческой элите.

«Правильная», неспешная жизнь в маленьком городе, где можно подолгу гулять, осуществившаяся в немалой степени благодаря приобретенному статусу инвалида (с возможностью официально не работать, получая от государства материальное обеспечение) приближает автора дневника к благородной дворянской праздности и приносит ему настоящее интеллигентское счастье: возможность сосредоточиться на творчестве, уйти от настоящих страстей к вымышленным. Настоящие страсти, как мы помним, довели нашего героя до тюрьмы и «психушки». Теперь он понимает, что, чтобы чувствовать себя не одиноким, вполне достаточно одного близкого, понимающего человека — матери, с которой можно говорить обо всем: «Посудачили о моих бабах. Очень ей хочется чтобы у меня была женщина и которая бы мне нравилась, и которая бы меня понимала. Бедненькая моя, любимая моя мамочка! Я только сейчас-то и вздохнул полной грудью. Из сорока лет жизни эти три месяца только и есть для меня по-настоящему счастливы, потому что освободился я наконец от всех любовей». Счастье как освобождение от семьи и необходимости работать ради куска хлеба — формула, очень знакомая в истории русской интеллигенции. «Наконец-то я по-настоящему свободен, — констатирует Вадим. — Один! У меня есть свой дом, у меня есть любимая работа, в которой я тоже беспредельно свободен» (запись от 19 апреля 1983 г.). Ради этого бесценного состояния стоило претерпеть и тюрьму, и «психушку»: «Все справедливо. И то, что я два раза был в лагере, и один раз на принудке просто, и один раз на «спецу» — все справедливо. Я лез туда, куда нельзя, брал то, что не заработал <...> но я всегда знал, что доведись мне за это платить, это будет справедливо». Мы видим классическое романное примирение героя с миром и с самим собой.

Но, может быть, подобная литературность и глубокая интериоризация литературных клише свойственна лишь дневникам, созданным в кругу интеллигенции?

Откроем наугад несколько не-интеллигентских дневников.

Четырнадцатилетняя школьница Ирина Каверина в 1980 г., во время семейной поездки по Забайкалью ведет классический дневник путешествий [6], который, при должном развитии, мог бы превратиться в часть большого романа воспитания и который девочка-подросток пишет именно так, как это делали путешественники еще в XVIII и XIX вв. Хотя девочка, несомненно, пишет для себя,

чтобы потом вспоминать долгожданную поездку, но развернутыми описаниями и пояснениями «для посторонних», наличием сюжета и диалогов, а также особенной, целомудренной, литературностью языка этот текст всецело принадлежит публичному дискурсу и лежит в традиции «классической литературы для юношества».

А вот дневниковый стиль известного партийного и государственного функционера Василия Ивановича Конотопа, видимо, был им усвоен по преимуществу из советских производственных романов, газетных передовиц и бюрократических клише, включая практики внутренней коммуникации, обороты из публичных выступлений, официальных автобиографий и речей, а также навыки «живого общения» с самой разной публикой. Скупая и сдержанная интимность дневника предзадана этими жесткими рамками, внутри которых считалось неприличным «сплетничать» (то есть давать непроверенную и/или субъективную информацию) о других, и не слишком принято было проговаривать собственные интимные переживания (поскольку мир идей, чувств и эмоций вторичен по отношению к миру материальных вещей и практических дел) [4]. Соответственно, адресация оставленных записей очень широка: далекая «мать-история»; современное автору общество; круг хозяйственников, коммунистов и управленцев; люди «советских поколений».

Если сюжетная линия дневников Ирины Кавериной и Василия Конотопа укладывается в формат романа, то неавторизованный дневник москвички с рабочей окраины, матери троих детей, глубоко несчастной в браке с пьяницей мужем, предстает трагедией (в центре которой, как мы помним, всегда находится человек, ведущий заведомо обреченную борьбу с обстоятельствами). Женщина последовательно описывает, отступая назад, историю своей запретной и несчастной любви к чужому мужу: «...я должна была тогда бежать чтобы остаться чистой хоть и неудачной женой но не Б...»; «этот человек сломал меня и оставил одну оболочку. “Где ты Дина что с тобой стало, где твои розовые очки на проклятую жизнь”» (1950 г.) [1]. Хотя записи кажутся глубоко интимными, они явно адресованы не только самому автору, а некоему понимающему и сочувствующему постороннему человеку, читателю, пусть только подразумеваемому. Литературность текста подчеркивается обращением к себе в третьем лице, риторическими вопросами, избеганием непечатных выражений, развернутыми описаниями и пояснениями для несведующего читателя, а также старательным, последовательным и неспешным изложением, конкретно, «истории любви».

По-видимому, дневник как феномен, безотносительно к социокультурной принадлежности его автора, представляет человеку уникальную возможность не только написать литературное произведение о самом себе, причем в желаемом жанре и стиле, но и получить наслаждение от его прочтения. Пребывание поочередно в статусе творца, главного героя и первого читателя составляет, очевидно, главную притягательность процесса дневникописания. Именно поэтому так редко дневники пишутся на высших уровнях приватности; иные же уровни

неизбежно требуют литературности: более или менее развитой сюжетности, обрисовки характеров, описания событий, объяснений мотивов, а также общих пояснений для несведующего читателя. Соответственно, дневник оказывается пронизанным интертекстуальными связями, дискурсивными и жанровыми условностями.

Михаил Рожанский полагал, что причиной очевидной литературности в случае советских дневников выступал советский всеобщ с его культом «классической литературы» [8]. Думается, однако, что дневник изначально был связан с книжной культурой и черпал из нее свои языковые средства. И, поскольку из триады: автор-герой-читатель ключевое значение имеет все-таки читатель (только его наличие придает смысл дневнику, как литературе, и дневнику, как перформансу), то, чем больше читателей у дневника, тем полнее выполнено его предназначение. Не удивительно, что феномен дневника так расцвел в мире постмодерна, с его тотальным опубличиванием по принципу: «не запостил — не было». И даже если скоро мы увидим обратное движение, в виде «укрывания публичного» и превращения его в «новую приватность», то и тогда дневник найдет себе и новые формы, и новые способы связи с читателем.

Литература и источники

1. Анонимный женский дневник 1950 г. — URL: <http://soviet-life.livejournal.com/1833359.html> (дата обращения: 23.11.2017).

ЧЕРЕПАНОВА Розалия Семеновна, канд. ист. наук, доцент, Южно-Уральский государственный университет (Челябинск, Россия). E-mail: rozache@mail.ru

Поступила в редакцию 06 марта 2018 г.

DOI: 10.14529/ssh180208

EGO-TEXTS: LEVELS OF PRIVACY IN THEIR INTERACTION WITH PUBLIC DISCOURSES (ON MATERIAL OF SEVERAL PERSONAL DIARIES FROM SOVIET EPOCH)

R. S. Cherepanova, rozache@mail.ru

South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation

In this article, the diary is seen as a kind of literary writing being carried out under the major narrative forms (Novel, Tragedy, Comedy, Satire — Hayden White). In one diary can coexist episodes addressed the different circles of the «ideal readers». These categories of potential readers correspond to the different levels of intimacy on which narration is conducted. The categories of readers and levels of privacy vary in the set of topics, intertextual links and discourses used. The author of the article illustrates her reflections on the examples of several personal diaries of 1960-th — the beginning of the 1980s., both published and unpublished to date.

Keywords: diary, narrative, discourse, genre, private, public.

References

1. Anonimnyi zhenskii dnevnik 1950 g., available at: <http://soviet-life.livejournal.com/1833359.html> (November 23, 2017).
2. Bahtin M. [Problema rechevyh zhanrov]. In: Bahtin M. *Sobranie sochinenii*. Moskva, Russkie slovari, 1996, vol. 5. pp. 159-206.
3. Bruner J. [Zhizn' kak narrative]. *Postneklassicheskaja psihologiya*, 2005, no 1, pp. 9-30.
4. Dnevnik Vasilija Konotopa, available at: <http://prozhito.org/notes?diaries=%5B322%5D> (November 23, 2017).
5. Dnevnik V.N. Antonova. In: Archive of the Institute for Eastern European Studies at the University of Bremen. F. 164/1, box 1.
6. Dnevnik Niny Kaverinoi, available at: <http://prozhito.org/notes?diaries=%5B473%5D> (November 23, 2017).

7. Dnevnik Nikolaja V. In: Central Moscow Archive-Museum of Private Collections (CMAMLS), F.23, Opis' 1, Delo 236.
8. Rozhanskii M. [Dnevnik sovetskoi devushki]. *Inter*, 2007, no 4, pp. 55-70.
9. White H. [Metaistoria. Istoricheskoe voobrazhenie v Evrope XIX veka]. Ekaterinburg, 2002. 528 p.
10. Fedorova N.A [Problema samoreprezentacii: pjdhod narrativnoi psihologii]. *Znanie. Ponimanie. Umenie*, 2007. No 2. pp. 206-212.
11. Frai N. [Anatomia kritiki]. In: Zarubezhnaia estetika i teoria literatury XIX-XX vv. Moskva, 1987, p.232-263.
12. Cherepanova R. [Lichnyi dnevnik V. N. Antonova kak istoricheskii istochnik: k voprosu ob osobennostiah intelligentskih avtobiograficheskikh tekstov]. *Nauka JuUrGU: materialy 66-i nauchnoi konferencii. Sekcia social'no-gumanitarnyh nauk*, Chelyabinsk, 2014, pp. 982-989.

Received March 06, 2018

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ

Черепанова, Р. С. Личный дневник: уровни частного и дискурсы публичного (на примере нескольких дневников советской эпохи) / Р. С. Черепанова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». — 2018. — Т. 18, № 2. — С. 49—54. DOI: 10.14529/ssh180208

FOR CITATION

Cherepanova R. S. Ego-texts: levels of privacy in their interaction with public discourses (on material of several personal diaries from soviet epoch). *Bulletin of the South Ural State University. Ser. Social Sciences and the Humanities*. 2018, vol. 18, no. 2, pp. 49—54. (in Russ.). DOI: 10.14529/ssh180208
